

Алексей Толочко

Пропавшая грамота

«Русская правда» Ярослава Мудрого состояла из трех Правд:
Правды отца, Правды сына и Правды внука
Из ответа студента на экзамене

Моя книга о Краткой редакции *Правды русской* вышла в самом конце 2009 года. Статья Константина Цукермана, насколько я могу судить, есть первым обстоятельным откликом на выдвинутые в ней положения (несколько возражений «по нашему мнению», оброненных *en passant*, разумеется, в счет не идут). Главное утверждение книги состояло в том, что Краткая редакция представляет собой не законодательный памятник начала XI в., но возникла под пером автора одной из летописей XV в. и ничем другим, кроме части летописного рассказа, никогда не была. Предложение, признаю, довольно радикальное на фоне «поражающей стороннего наблюдателя традиционностью историографии Киевской Руси». «Стороннего наблюдателя», от имени которого Константин Цукерман начинает и заканчивает свою статью, состояние дисциплины могло бы поразить не только склонностью культивировать давно заученные идеи, но и полным отсутствием желания обсуждать те немногие новые, что все же появляются. Это правда, что с падением по-советски социологизирующей историографии *Правда русская* утратила былой статус «основополагающего» текста и из центра дисциплины переместилась на ее задворки. По крайней мере, два поколения сменились в науке с тех пор, как *Правда русская* совершенно перестала интересоваться исследователей, так что сегодня едва ли сыщутся те, кто детально разбирался бы в источниковедческих проблемах *Правды* или пожелал бы окунуться в них ради полемики.

И все же.

Вот уже около 300 лет одна из редакций *Правды русской* — так называемая *Краткая правда* трепетно почитается как первый опыт законодательства Руси: ее в 1016 г. издал для новгородцев Ярослав Мудрый в награду за помощь в борьбе со Святополком Окаянным. *Краткая правда*, таким образом, оказывается не просто древнейшим сводом законов, но самым древним письменным памятником, созданным в Восточной Европе. Она древнее летопи-

сей (настоящих и воображаемых), древнее договоров с греками (переведенных на славянский язык на рубеже XI–XII вв.), древнее *Слова про закон и благодать* Илариона, древнее обнаруженной археологически «Новгородской псалтири» (с ее реальными и «скрытыми» текстами), древнее наиболее ранних граффити или берестяных грамот. Словом, это жемчужина ценой в сокровище. Именно в таком качестве *Краткая правда* фигурирует в учебных курсах, хрестоматиях, энциклопедиях, да и в популярном сознании. Хладнокровие и даже равнодушие, с которым дисциплина наблюдает за попыткой изъять из канона его древнейший текст, говорит не столько о качестве этой попытки, сколько о своеобразном социологическом и интеллектуальном устройстве исследовательского сообщества. Отряд не заметил потери бойца.

Показательно поэтому, что за правду вступился византинист, человек хорошо ориентирующийся в исследовательских проблемах Руси и прекрасно начитанный в литературе, но привыкший работать в дисциплине, где дискуссия есть постоянным и нормальным элементом научного поиска.

Напомню, в самом сжатом очерке, очевидные факты, которые послужили для меня исходным пунктом поисков. Они (факты) подлежат объяснению независимо от того, насколько убедительны оказались мои ответы.

Вопреки приписываемой ей древности, *Краткая правда* известна только в двух списках (*Академическом* и *Комиссионном*) достаточно поздней *Новгородской первой летописи младшего извода*, возникшей во второй четверти XV в. Никакой предшествовавшей истории *Краткой правды* установить не удастся: в течение четырех веков с момента возникновения она не оставила за собой никакого следа — ни списка, ни цитаты, ни даже простого упоминания. Сокровище, как ему и положено, лежало под спудом. Точно так же и никакой последующей истории у *Краткой правды* не было: она намертво связана с младшим изводом *Новгородской первой летописи*. Собственно, только рассказ этой летописи и удостоверяет как происхождение *Краткой правды*, так и ее дату — 1016 г. и автора — Ярослава Мудрого. Подобная традиция передачи (исключительно внутри летописи) крайне необычна для памятника законодательства, который мы ожидали бы встретить также и в составе других рукописей, например, сборниках юридических текстов.

В том же поколении новгородских летописцев, что создавали младший извод *Новгородской первой летописи*, впервые возникает и сама идея, что киевский князь Ярослав Владимирович некогда даровал новгородцам «правду и устав», велел им впредь жить по указанным заповедям. Сообщение об этом (с чем согласен и К. Цукерман) появляется только в группе Новгородско-софийских летописей (*Новгородской Карамзинской*, *Софийской первой* и *Новгородской четвертой*), созданных в начале XV в. Правда, в *Софийской первой летописи* в качестве такой новгородской «конституции» предложен текст Пространной редакции *Правды русской* (притом, в том виде, как она сформировалась к XIV в.), что означает: никаким текстом «Ярославлей гра-

моты» новгородские грамотеи начала XV в. не располагали и смогли найти упоминание имени Ярослава только в единственном документе — *Пространной правде*. То, что ранее этого времени подобной идеи не существовало даже в новгородском летописании, удостоверяет *Синодальный список*, то есть старший извод все той же *Новгородской первой летописи* (рукопись середины XIV в.), где нет ни сообщения о «конституции», ни ее предполагаемого текста.

Вот, собственно, и все, что известно о *Краткой правде*. Все остальное — десятки книг и тысячи страниц — не более чем нагромождение догадок и предположений, призванных создать иллюзию, будто у *Краткой правды* могла быть история ранее XV в. Большинство из них вызывает чувство неловкости за предшественников.

В любой другой исторической дисциплине полное отсутствие свидетельств означало бы отсутствие явления. Во всяком случае, такая возможность должна была бы обсуждаться прежде всех иных. Во вторую очередь приходила бы мысль, что говорить, собственно, не о чем, и исследовать явление по несуществующим свидетельствам невозможно. А невразумительный «документ», возникающий в XV в., но выдающий себя за грамоту начала XI в., в лучшем случае попадал бы в разряд *spuria*, то есть сомнительных текстов, чье происхождение и аутентичность еще предстояло бы выяснить. И уж не знаю когда наступал бы черед предположения, что отсутствие каких-либо свидетельств не препятствует восстановлению истории явления.

Но не таковы правила «поражающей стороннего наблюдателя традиционностью» дисциплины истории Киевской Руси. Здесь наименее вероятная мысль приходит в голову первой. Здесь вымысел средневековых летописцев вызывает не естественное желание проверить его на подлинность, а стремление найти дополнительные доводы для доверия.

Сценарий возникновения *Краткой правды*, который предлагает в своей статье К. Цукерман, призван примирить «две вещи несовместны» — очевидное для «стороннего наблюдателя» полное отсутствие каких-либо следов *Краткой правды* до XV в. (впрочем, и после) и вынесенное из «традиционной дисциплины» убеждение, будто она древний юридический памятник времен Ярослава Мудрого. Он называет ее «мнемотекстом». Проще говоря, предположение состоит в том, что, прежде чем быть записанной в XV в., *Краткая правда* существовала в устном виде. Подобная гипотеза, насколько могу судить, никогда прежде в литературе не высказывалась и потому представляет собой, несомненно, новое слово в исследовании *Краткой правды*. На этой, наиболее оригинальной, части рассуждений К. Цукермана я и хотел бы сосредоточить внимание.

К. Цукерман согласен со мной, что текст *Краткой правды* возникает только в XV в. и, более того, возникает именно в младшем изводе *Новгородской первой летописи*. Каких-либо следов ранее этого времени обнаружить пото-

му и невозможно, соглашается он далее, что никакой письменной трансляции не было: *Краткая правда* не передавалась ни в составе летописей, ни в составе иных сборников. Вместе с тем, в содержании *Краткой правды* он находит настолько архаические черты, что реконструируемое на ее основании общество должно было находиться на самых начальных стадиях социализации. Во всяком случае, это общество несравненно более примитивно, чем то, что восстанавливается на основании *Пространной правды*, а потому *Краткая правда* — гораздо более древний документ. Это мнение спорно. В нынешнем виде *Краткая правда* не может быть древнее эпохи Ярославичей (упомянутых в ее тексте), *Пространная правда*, в дополнение к Ярославичам, упоминает также Владимира Мономаха. То есть, между памятниками дистанция — в одно поколение, с точки зрения развития общественных отношений они практически современны и принадлежат к одной эпохе. Но не будем придирааться.

Что именно дало повод К. Цукерману увидеть в *Краткой правде* «мнемотекст»?

Его признаки исследователь усмотрел в последнем разделе, озаглавленном «А се поконъ вирный» (42 статья по современному счету). Этот (во многих отношениях ключевой для интерпретации *Краткой правды*) раздел традиционно считается если не загадочным, то поразительным в виду количества несообразностей и противоречий, не поддающихся объяснению. Например, «Покон вирный» устанавливает точный размер вознаграждения, причитающегося вирнику (сборщику судебных штрафов) за недельную работу, и этот размер чудовищно велик: 60 гривен, 10 резан и 12 вевериц. Кроме того: вознаграждением вирника был процент от собранной суммы вир; поскольку люди, как правило, совершают различное количество преступлений от года к году, общая сумма вир будет колебаться, а с нею должен колебаться и процент, причитающийся вирнику. Поскольку предугадать заранее количество и род преступлений, а следовательно, и объем штрафов невозможно, исчисление вознаграждения с такой точностью (вплоть до веверицы) также невозможно, а его закрепление в законе — абсурдно. Эти нелепости, однако, объясняются, как следствие неудачного компилирования двух соседних статей *Пространной правды* (ст. 9 «А се покони вирный» и ст. 10 «W вирахъ»). Невероятно большое вознаграждение вирника в 60 гривен, 10 резан и 12 вевериц (в *Пространной правде* от двойной (!) виры полагалось 16 гривен, 10 кун и 12 векш) я объяснил как ошибку самодиктовки: «шестьдесятъ» вместо «шестнадцать». Это последнее решение К. Цукерман признал верным. Но истолковал его как ошибку слуха¹:

1 Разумеется, отличить ошибку самодиктовки от ошибки слуха достаточно трудно. Но подобные огрехи характерны именно для копиистов. Вот одна, из близкого нашей теме сюжета. Желая продолжения борьбы со Святополком, новгородцы собирали деньги: «начаша скоть брати ѿ мужа

Писец изначального текста *Краткой правды* не переписывал его, а записывал, под диктовку или под самодиктовку, но без возможности сверки с письменным оригиналом. Сложные расчеты комиссии вирника плохо сохранились в его памяти, из-за чего расчеты за две различные виры слились в один, исказившись и утратив, как мы видели, важнейшие детали. Он точно также запутался в перечислении данных, входящих в расчет штрафа в 3 гривны.

У автора *Краткой правды*, как выясняется, было плохо не только со слухом, но и с памятью, а также и соображением. К. Цукерман признал наличие и других «аномалий текста», «искажений текста», «сокращений до потери смысла», фрагментов «начисто лишенных смысла из-за искажений», «бессмысленных цифр» и т. д. Поразительно, но отрицая какую-либо связь между текстами *Пространной* и *Краткой правд*, только сопоставлением этих «сокращенных до потери смысла» фрагментов с *Пространной правдой*, К. Цукерман и восстанавливает «неискаженное» содержание.

Как можно судить, кроме единственной ошибки самодиктовки, других признаков бесписьменной передачи *Краткой правды* К. Цукерман найти не в состоянии и за маркеры устного текста выдает представительный каталог «бессмыслицы». Этого, прямо скажем, мало.

Тем не менее, сценарий возникновения *Краткой правды* видится исследователю в следующем виде:

Совокупность приведенных наблюдений утверждает меня в мысли о том, что *Краткая правда* возникла как запись бытовавших в устной передаче правовых норм, сделанная, вероятно, клириком со слов законоговорителя.

В памяти нашего забывчивого «законоговорителя» наиболее полно сохранился (к счастью) наиболее древний текст времен Ярослава, то есть первые 18 статей:

Благодаря своей структуре, которая отсутствует в *Пространной правде*, этот короткий текст мог легко быть заучен законоговорителем наизусть. Именно структурированность *Краткой правды* наводит на мысль, что она передавалась и в устной традиции в достаточно устойчивой форме, что я и подразумеваю под понятием мнемотекст.

По какому-то поразительному совпадению память стала отказывать «законоговорителю» начиная с 19 статьи (где упоминаются сыновья Ярослава), то есть именно с того места, где ученые начинают т.н. «Правду Ярослави-

по четыре куны . а ѿ старость . по . 1̄ . гривень . а ѿ бояръ по ѿсмидесять гривень» (*ПСРЛ* 2: 130–131). Сумма, полагающаяся с бояр — 80 гривен,— выглядит непомерно высокой. В *Лаврентьевской* версии скромнее: «ѿ мужа по . 1̄ . куны . а ѿ старость по . 1̄ . гри⁸ . а ѿ бояръ по . ӣ . гри⁸» (*ПСРЛ* 1: 143). Налицо также ошибка самодиктовки в *Ипатьевской* версии. Благодарю Т.Л. Вилкул, указавшую мне на этот случай.

чей», да так, что к концу *Краткая правда* превращается в нечто невразумительное, вынуждая К. Цукермана признать:

Понятно, что ни о каком практическом применении подобного «закона» не могло быть и речи.

В качестве альтернативы можно было бы предположить, что не память отказала «законоговорителю», но слух записывающему под его диктовку клирику. Но будем серьезны.

В том, что люди, в особенности постоянно обращающиеся к одному и тому же тексту, могут выучить на память и затем декламировать значительные его объемы, нет ничего невозможного. Но для этого письменный текст должен предварительно существовать. Все же мы имеем дело с ситуацией развитой письменной культуры Новгорода XV в. и притом с наиболее «письменными» ее представителями — сочинителями летописей из окружения архиепископа. Это — писцы, редакторы, составители — люди особой выучки, может быть, даже канцелярской выучки, где оборот письменных документов составляет сердцевину умений и навыков. Это люди, первым делом сверяющиеся с письменным текстом и вообще — с документом. Поэтому К. Цукерману следовало бы объяснить, почему он совершенно исключает (в рамках собственного сценария) возможность того, что продекламированная в скриптории *Краткая правда* не может оказаться плохо выученным текстом *Пространной правды*. Или — визуализируя сценарий — почему редактор *Новгородской первой летописи* не воспроизвел (даже и по памяти) находившийся тут же, в древней *Кормчей* из архиепископской библиотеки, и наверняка ему известный вариант «Ярославлей грамоты», но послал за неким «законоговорителем», а выслушав его, предпочел устную безлепичу внятному письменному тексту. Он ведь не был источниковедом из «традиционной дисциплины» и не мог мгновенно (на слух) распознать, что имеет дело с «мнемотекстом», в котором окаменело более древнее законодательство. Авторитет письменного документа в глазах клирика XV в. был бы значительно выше любых «устных источников».

Сценарий, набросанный К. Цукерманом, предполагает, что первым «законоговорителем» был сам князь Ярослав. Затем, в течение 400 лет, последующие «законоговорители» «легко заучивали текст наизусть» и передавали его в неизменном виде из поколения в поколение. Текст, тем не менее, дошел до летописца с путанными цифрами, сокращенными текстами, искаженными смыслами. Винават только последний из «законоговорителей» или также и его предшественники? Каким образом контролировалась точность передачи? Что служило эталонным текстом? И, наконец, если текст подвергался мутациям в процесс передачи, что именно позволяет нам утверждать, будто он — тот самый древний, который продекламировал в XI в. Ярослав (а, скажем, не «новый», выученный на рубеже XIV–XV вв. последним «законоговорителем»)?)

Для текста настолько текучего и изменчивого момент текстуализации, то есть фиксации на письме, только и может быть единственной возможной датировкой.

Еще один набор проблем связан с параллельным существованием в течение многих веков «примитивной» устной *Краткой* и «развитой» письменной *Пространной правд*. Пространная редакция, с чем, кажется, никто не спорит, существует в виде письменного свода законов по крайней мере с начала XII в. А значительные ее фрагменты (вошедшие затем в свод) должны были существовать еще раньше. Как, при наличии нового и «хорошего» закона, сохраняется старый и «примитивный»? В чем состояла необходимость заучивать законы, уже вышедшие из употребления и замененные более детальными установлениями? Какова практическая ценность такого закона для повседневной жизни общества? Заметим, что различные версии «закона» сосуществуют в пределах одного города — Новгорода — где устные «законоговорители» постоянно сталкиваются с судьями, читающими письменный закон. Каким образом письменное законодательство никак не повлияло на «законоговорителей»? Ведь не «исторический источник» для «традиционной дисциплины» сохраняли влекомые инстинктом археографов поколения «законоговорителей»?

К научной гипотезе предъявляют два минимальных требования. Она должна объяснять больше недоумений, чем порождать новых. Она должна иметь основание в наблюдаемом порядке вещей. Стоит ли напоминать, что равным счетом никакими данными об устном праве, его трансляции и тем более — институте «законоговорителей» в Восточной Европе мы не располагаем?

Институт «законоговорителей» известен в средневековой Скандинавии. Собственно, это единственная культурная традиция, оставившая сколь-нибудь представительные свидетельства о функционировании устного права до его текстуализации в XII–XIV вв. в виде систематизированных сводов законодательства. Судя по некоторым замечаниям, К. Цукерман именно скандинавскую модель и предполагает в качестве общего обоснования для своей догадки. Попытаемся поэтому посмотреть, какие уроки для нашей темы можно извлечь из наблюдений над скандинавским материалом. Наш обзор будет одновременно и тестом для гипотезы К. Цукермана.

Люди способны заучивать на память большие объемы прозы, но известно, что поэзию запоминают легче и удерживают в памяти дольше и точнее. Это потому, что поэзия эксплуатирует мнемонические приемы: упорядоченные размеры, аллитерации, устойчивые формулы, рифму. Предполагают, что такими же особенностями (или, по крайней мере, некоторыми из них) должны обладать и «памятники» устного закона (или законодательства), чтобы надежно и устойчиво передаваться на длительные хронологические расстояния. Исследователи устного компонента в средневековом скандинавском праве поэтому пытаются идентифицировать в языке письменных текстов признаки мнемонических приемов. Как правило, таковыми

считают наличие ритмизации текста, аллитераций, парных формул и т. п. Если бы К. Цукерман смог указать в *Краткой правде* хотя бы намеки на подобные явления, его утверждение о «мнемотексте» приобретало бы очертания научного наблюдения.

Дело однако осложняется тем, что господствовавшие в науке XIX и значительной части XX века убеждения, будто скандинавские памятники законодательства представляют собой едва ли не непосредственную запись дописменного права подвергаются, начиная с 1960-х гг., все более решительной ревизии². Ряд исследователей настаивает, что в процессе текстуализации традиционное право (каким бы ни была его форма в дописменный период) испытало фундаментальную трансформацию, не в последнюю очередь, в отношении языка. То, что полагали указаниями на древние и архаичные мнемонические приемы — аллитерации, ритмизация — принадлежит к числу стилистических приемов средневековой письменной культуры, частью которой, следовательно, является и письменное законодательство. Более того, в исследованиях последнего времени вообще ставится под сомнение наличие дописменной метрической композиции в средневековых памятниках скандинавского права³. Любопытно, что наименее «разговорным» оказывается язык исландских законов, известных как *Серый гусь* (*Grágás*)⁴, вопреки тому, что именно Исландия считается эталоном длительного и успешного функционирования устного законодательства. Более того, именно в *Grágás* содержится установление, чтобы язык законов ни в коем случае не совпадал с поэтическим языком⁵.

Главным социальным институтом Скандинавии Эпохи викингов считается региональное народное собрание (*þing*). Провинция, объединенная общим собранием, разделяла также и собственную правовую традицию, а собрание служило форумом, на котором определялось, что считать законом. «Законоговоритель» (*logsogumaðr*) в Исландии или же «законник» (*logmaðr*, *laghmaðer*) в Норвегии и Швеции был лицом, ответственным за знание закона, его толкование, выбор подходящих случаю норм, а иногда и оглашение вердикта. Как именно законоговоритель приобретал знание закона и как осуществлял его передачу неясно. Для Исландии известна непрерывная вереница законоговорителей начиная с 930 г. и до введения норвежских королевских законов в

2 См. обзор литературы: Stefan Brink, “*Verba Volant, Scripta Manent?* Aspects of Early Scandinavian Oral Society,” *Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture*, ed. by Pernille Hermann [The Viking Collection: Studies in Northern Civilization, 16] (Odense: University Press of Southern Denmark, 2005), 73–81.

3 См., например: Michael Schulte, “Early Scandinavian Legal Texts. Evidence of Preliterary Metrical Composition?” *North-Western European Language Evolution*, vol. 62/63 (2011) [*Language and Literacy in Early Scandinavia and Beyond*], 1–30.

4 Michael P. McGlynn, “Orality in the Old Icelandic *Grágás*: Legal Formulae in the Assembly Procedures Section,” *Neophilologus* 93 (2009), 521–536.

5 См.: Margaret Clunies Ross, *A History of Old Norse Poetry and Poetics* (Cambridge, 2005), 14.

конце XIII в.⁶, но они не образуют последовательных пар «учитель — ученик». В Исландии существовал институт регулярной декламации закона: законоговоритель был обязан оглашать в течение трех летних собраний весь известный ему объем закона перед *lögrétta*, законодательным советом. Эта практика, несомненно, была призвана стабилизировать законодательство, сделать его объем и толкование предметом всеобщего согласия. Но сомнительно, чтобы декламация служила основным или даже главным каналом передачи закона. Более того, есть основания полагать, что практика декламации закона была не только кратковременной, но и возникла в связи с попытками (после 1118 г.) письменной кодификации исландского законодательства⁷.

Как свидетельствуют устанавливающие порядок декламации главы *Grágás*, люди помнили различные законы, помнили различные варианты одного закона, словом, помнили законы по-разному. Декламация законоговорителя имела целью гармонизацию этого знания: он обязан был провозглашать законы настолько подробно, «что никто другой не знает их более пространно»; а если его знание оказывалось недостаточным, тогда перед декламацией он должен был организовать собрание пяти или более знающих людей и выяснить у них подробности закона⁸. Но даже декламация не достигла цели полной унификации законодательства. Когда законы стали записывать, достаточно скоро выяснилось, что существуют записи различных вариантов, часто противоречащие друг другу, поэтому в *Grágás* предусмотрено, как определять авторитетность текстов⁹. В сущности, о том же говорят и сами сохранившиеся рукописи *Grágás*, содержащие различный и разноречивый объем законодательства, отличающийся порядком следования и словесной редакцией сходных законоустановлений¹⁰.

Все это означает, что — какова бы ни была древность декламации — законоговоритель не цитировал из памяти точно вызубренный им текст некоего систематизированного и неизменного «свода законов». Поскольку закон, как его помнил законоговоритель, мог существенно отличаться от знаний других участников собрания, закон оказывался результатом «переговоров» и возникал из своего рода «торга» между законоговорителем и членами *lögrétta* (букв. — «законоисправителями») ¹¹. Это, в свою очередь, означает, что с каждым трехлетним циклом закон мутировал, не только в отношении содержания и объема

6 Introduction, *Laws of Early Iceland: Grágás, the Codex Regius of Grágás, with Material from Other Manuscripts*, transl. by Andrew Dennis, Peter Foote and Richard Perkins, vol. 1 (Winnipeg, 1980), 1–2.

7 Helgi Skúli Kjartansson, “Law Recital According to Old Icelandic Law: Written Evidence of Oral Transmission?” *Scripta Islandica*, 60 (Uppsala, 2009), 94–97.

8 *Laws of Early Iceland: Grágás*, 188.

9 *Laws of Early Iceland: Grágás*, 190.

10 Introduction, *Laws of Early Iceland: Grágás*, 13–17.

11 Helgi Skúli Kjartansson, “Law Recital According to Old Icelandic Law,” 97–100; Gunnar Karlsson, “Was Iceland the Galapagos of Germanic Political Culture?” *Gripla. XX. Nordic Civilisation in the Medieval World*, ed. by Vésteinn Ólason (Reykjavík, 2009), 87.

(какие-то старые законы выбывали, на их место принимали новые установления), но и в отношении языкового оформления. Так что законы, которые в 1118 г. начали записывать под наблюдением законоговорителя Бергтора сына Хравна и «других мудрых мужей» в доме Хавлиди сына Мара оказались совсем не теми законами норвежского Гулатинга, которые (по свидетельству Ари Мудрого) установил для Исландии Ульвльот в 920-х гг.

Для нашей темы важен и еще один урок. Как бы не апеллировал закон к старине и обычаю, его основная ценность для коллектива — в возможности практического применения, а, значит, в современности, в соответствии реалиям и требованиям дня. Никто, тем более в рамках устной традиции, не заучивает и не хранит в неизменном виде некую «грамоту», следя за тем, чтобы в ней не менялись «ані титли, ніже тіі коми». Стремление к подобной точности передачи возможно лишь в условиях письменной культуры и есть одним из ее признаков:

Люди в состоянии заучивать на память огромные массивы сложной прозы. Но побуждает их к этому письменная культура, будь то в случае Авиценны, декламировавшего по памяти Коран в возрасте десяти лет, или современного актера, из пьесы в пьесу зазубривающего свою роль [...] Для подобного заучивания письменный текст представляет собой не только незаменимый инструмент, но также и образец, указывающий, что даже пространные потоки прозы должны существовать в строгой и постоянной форме. Хотя дописьменная культура может управляться с большим объемом поэзии, заученной более-менее твердо, или любым количеством устойчивых выражений, не следует ожидать, что она стремится непременно к дословной фиксации длинных фрагментов прозы. Не следует также ожидать, что эта культура изобретет механизм, например, публичную декламацию законов, чтобы обеспечить точную передачу прозы в неизменном виде. Подобные допущения не стоит принимать, если только источники определенно не указывают в противоположном направлении, чего они в нашем случае не делают¹².

Как сохраняли и транслировали закон в полностью дописьменной культуре, мы можем только предполагать, да и то в самых общих чертах. Полагают, что наиболее действенным способом передачи было приватное тьюторство, когда знание передавалось от учителя к ученику. Но это приводило не только к вариативности знания, но и фрагментарности. Поэтому полный объем закона достигался только как *коллективное* знание (почему и необходимо собрание «мудрых мужей»). В каких формах помнили закон? Вероятно, помнили о традиционных практиках (как поступать в случае, если), помнили отдельные законоустановления, возможно, даже целые группы сходных казусов. Однако ту или иную часть закона вспоминали применительно к конкретному случаю или преступлению, сравнивая притом сохраненные памятью разных людей варианты. Никаких свидетельств, что в устной традиции зако-

12 Helgi Skúli Kjartansson, “Law Recital According to Old Icelandic Law,” 101.

нодательство бытовало в виде целостных «мнемотекстов» (аналогичных письменным сводам законов) не существует.

Современному человеку это становится понятно на следующем примере. Наиболее распространенным «устным» законом сегодня есть правила дорожного движения. Все водители их знают и помнят, некоторые даже соблюдают. Однако сидя за рулем, правила вспоминают не в форме систематизированного текста, как он напечатан в соответствующей брошюре, но в том, всякий раз меняющемся, порядке, как его диктует маршрут и возникающие по ходу следования ситуации. А если в знаниях водителя обнаружатся пробелы или неточности, всегда есть возможность сравнить собственную версию с той, которую предложит профессиональный «законоговоритель» в форме дорожного патруля.

В заключение своей статьи К. Цукерман приводит хорошо известный и неоднократно обсужденный случай, когда в Италии некие подданные не желали подчиниться изданным Карлом Великим дополнениям к *Салической правде* на том основании, что они не присутствовали при оглашении закона в королевском собрании¹³. Вероятно, с точки зрения «постороннего наблюдателя» пример из западноевропейской истории, одобренный латинскими цитатами, должен производить впечатление на практикантов «традиционной дисциплины». Я однако затрудняюсь понять, как это событие оказалось пришито к нашему делу об «устной» *Краткой правде*. Ведь речь идет об обычной, известной вплоть до новейших времен, практике публикации *письменного* закона путем прокламации¹⁴. Это важный и плодотворно исследуемый, но совершенно иной аспект *оральности*.

Поэтому я завершу свои заметки случаем прямо противоположным: фиксации на письме законодательства, действительно возникающего без опоры на письменное право. Этот эпизод, кроме того, важен, так как позволяет поразмыслить над тем, всегда ли устное законодательство означает *древнее* законодательство, а также над тем, всегда ли *примитивность* законодательства уверенно датирует время его возникновения.

6 февраля 1918 г. Иван Бунин сделал следующую запись в дневнике:

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

13 См.: Janet Nelson, "Literacy in Carolingian Government," *The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe*, ed. by R. McKitterick (Cambridge, 1990), 266–267; Stefan Brink, "Verba Volant, Scripta Manent?", 60–61. О глубоко письменной культуре, отраженной в законодательстве Каролингской эпохи см.: Rosamond McKitterick, *The Carolingians and the Written Word* (Cambridge, 1995), 60–75.

14 О прокламации как привычной для средневековья форме оповещения письменного закона или акта см.: M.T. Clanchy, *From Memory to Written Record. England 1066–1307*. Second edition (Oxford and Cambridge, MA, 1993), 264–267.

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

- Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.
- Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишит жизни.
- Если кто совершит кражу, или кто примет краденое, то лишит жизни.
- Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишит того жизни.

(Иван Бунин. *Окаянные дни*).

Варварская правда русских крестьян поразительно похожа на *Краткую правду*, воспроизводя даже структуру «аще кто — то» ее установлений. Было бы однако величайшей смелостью на этом основании датировать ее временем предшествующим *Своду законов Российской империи*.

Інститут історії України НАН України